

Книга первая

Вход в лабиринт

ГЛАВА 1

Улыбка королевы

И кода тоже не получилась. Здесь должно быть высокое, просто кричащее пиццикато, но звук выходил тупой, тяжелый, неподвижный. Сзади, там, где тускнели лампы, раздался смех. Плыла, тяжело дыша, жаркая венецианская ночь. Дамы обмахивались веерами, и кавалеры шептали им на ушко что-то, наверное, гривуазное, а они улыбались, и Антонио все время слышал шорох разговора в зале, и от этого проклятая скрипка звучала еще хуже, пока кто-то отчетливо — как камень в воду — не сказал: «А ведь хороший резчик по дереву был!» Тогда Антонио сбросил смычок со струн, и скрипка противно вскрикнула, злорадно, подло, и в зале все лениво и равнодушно захлопали, решив, что пьеса окончена, слава богу...

На негнущихся голенастых ногах прошагал к себе в комнату Страдивари, долго пил из кувшина, пока, булькнув, струйка не иссякла. Вода была теплая, вязкая, и жажда не проходила. Антонио стянул с головы парик и вытер им воспаленное, мокрое от пота лицо, долго сидел без чувств и мыслей, и только огромная, утомительная пустота заливала его, как море. Кто-то постучал в дверь, но он не откликнулся, потому что ужин у графа Монци был бы сейчас для него невыносимой пыткой, да и не имело теперь значения, откажет ли ему в дальнейшем покровительстве граф, — жизнь ведь все равно была уже кончена.

От темноты и одиночества напряжение немного прошло, и Антонио почувствовал сильную жалость к себе. Он зажег сальную свечу и вытащил из дорожного мешка щипчики и тонкую длинную стамеску. Взял скрипку в руки, и она вновь вызвала у него прилив ненависти — пузатая, короткая, с заданным грифом, похожая на преуспевающего генуэзского купца. Антонио упер скрипку в стол и сильным точным толчком ввел металлическое жало стамески под деку. Скрипка затрещала, и треск ее — испуганный, хриплый — был ему тоже противен. Освободил колки, снял бессильные, дряблые струны и поднял деку. Аляповатая толстая душка, нелепо поставленная пружина, толстые — от селедочного бочонка — борта-обечайки.

В горестном недоумении рассматривал Антонио этот деревянный хлам, зная точно, что он никуда не годен. Господи, надоумь, объясни — как же должно быть хорошо? На колокольне ударили полночь, и где-то далеко на рейде бабахнул из носовой пушки неапольский почтовый бриг, и время текло, струилось, медленно, размеренно, как вода в канале за окном, и откровение не приходило. Из окна пахло сыростью, рыбой, полночным бризом. Антонио встал, собрал со стола части ненавистной скрипки, подошел к окну и бросил в зеленую воду немые деревянныешки. Потом, не снимая камзола и башмаков, лег на узкую кровать, поняв окончательно, что жизнь кончена, уткнулся в твердую подушку, набитую овечьей шерстью, и горько заплакал. Он плакал долго, и слезы размывали горечь, уносили рекой сегодняшней позор, намокла и согрелась подушка, ветерок из окна шевелил на макушке короткие волосы, и незаметно для себя Антонио заснул.

А когда проснулся, солнце стояло высоко, и горизонта не было видно, потому что сияющее марево воды сливалось с нежно-сиреневым небом, и ветер гнал хрустящие, кудрявые, как валансьенские кружева, об-

лака, и только тонкая стамеска да черные щипчики на столе напомнили ему, что жизнь кончилась еще вчера. Вспомнил — и засмеялся.

В этот день Антонио Страдивари исполнилось девятнадцать лет.

.....

Королева улыбалась ласковой, чистенькой старушечьей улыбкой, и трещины расколовшегося стекла нанесли на ее лицо морщинки доброты и легкой скорби. Портрет валялся на полу, и с того места, где стоял я, казалось, будто королева запрокинула голову, внимательно рассматривая красное осеннее солнце, недвижимо повисшее в восточном окне гостиной.

— Девять часов шестнадцать минут, — сказал эксперт Халецкий.

— Что? — переспросил я.

— За восемь минут, говорю, доехали.

— Ну слава богу. — Я ухмыльнулся. — Задержись мы еще на две минуты, и тогда делу конец...

Эксперт покосился на меня, хотел что-то сказать, но на всякий случай промолчал. Мы стояли в просторной прихожей, в дверях гостиной, не спеша оглядывая разгром и беспорядок в комнате, ибо этот хаос был для нас сейчас свят и неприкосновенен, являя собой тот иррациональный порядок, который создал здесь последний побывавший перед нами человек. Вор.

— Послушайте, Халецкий, а ведь, наверное, сильно выросла бы раскрываемость преступлений, если можно было бы консервировать место происшествия. Вы как думаете?

— Не понял, — осторожно сказал Халецкий, ожидая какого-то подвоха.

— Чего непонятного? Вот закончим осмотр, сфотографируем, запишем, и сюда придут люди. Много всяких людей. И навсегда исчезнет масса следов и деталей, на которые мы с первого раза просто не обратили внимания...

— И что же вы предлагаете?

— Я ничего не предлагаю. Просто фантазирую. Если бы можно было после осмотра опечатать квартиру и прийти сюда завтра, послезавтра — и мы бы увидели так много нового...

— Прекрасный образец работы по горячим следам, — сказал сварливо Халецкий. — Вы лучше постарайтесь все это увидеть сейчас. Кроме того, я не уверен, что хозяева этой квартиры согласны погостить у вас дома... пока вы будете искать не замеченные сразу улики.

Я засмеялся:

— Да, в моих апартаментах будет трудно разместить эти рояли. И хоть я в этом мало чего понимаю, но хозяину они, наверное, нужны оба.

Сзади щелкнула входная дверь, и вошла инспектор Лаврова, а за нею — собаковод Качанов с Марселем. Огромный, дымчато-серый с подпалинами пес спокойно сел в прихожей, приветливо посмотрел на меня, смешно подергал черным замшевым носом. «Я готов, — всем своим видом говорил Марсель. — Не знаю, чего уж вы тут копаетесь».

— Что, поработаем, Марсельюшка? — спросил я и потрепал пса по загривку.

Овчарка прищурила свои янтарно-крапчатые круглые глаза.

— Станислав Палыч, вы его зря сейчас разговариваете, — сказал недовольно Качанов. — Исковой пес в работе на след должен быть уцелен, как на жареную печенку.

Лаврова чиркнула зажигалкой, затянулась сигаретой, со смешком сказала:

— А что толку-то? Все равно «...у стоянки такси собака след утратила...».

— Это вы уж бросьте! — совсем обиделся Качанов. — Вашей-то фотографии в музее милицейском еще нет пока, товарищ лейтенант... А Марсель мой, между прочим, третий год там красуется. Зазря портрет на стенку вешать не станут. Притом в раме...

— Станислав Павлович, поблагодарите Качанова за комплимент, — засмеялась Лаврова. — Я ведь там и ваш портрет видела.

Лаврова оглядывалась в прихожей, разыскивая, куда бы ей сбросить пепел с сигареты, направилась к столику, на котором стояла большая тропическая раковина. Я опередил ее, подставив развернутую газету:

— Если нет принципиальных возражений, пепел будем стряхивать сюда. Я ведь сейчас отличаюсь от Марселя тем, что, прежде чем искать, обязан сторожить тот порядок, в котором мы все это застали.

Лаврова взглянула на меня, усмехнулась:

— И опять вы правы. Я с тоской думаю об участи женщины, которая станет вашей женой.

Я кивнул:

— Я тоже. Для вас остается вариант личного самопожертвования. А теперь, как говорили дуэлянты, приступим, господа. Качанов, войдешь первым: вы

с Марселем отработывайте след, а мы начнем свою грустную летопись.

Качанов снял с Марсеся поводок, что-то шепнул ему на ухо и пустил в комнату. Я стоял, прислонившись к притолоке.

Собака, видимо, взяла след. Она занервничала, вздыбилась шерсть на загривке, судорожно подергивался нос — черный, влажный, нежно-трепетный. Марсель перебежал комнату и исчез в спальне, потом снова вернулся, и двигался он все время кругами, иногда растягивая их и переворачивая в восьмерки, пока не выбежал обратно в прихожую, сделал стойку у дверного замка, и тут Качанов ловко и быстро накинул на него карабинчик поводка. Марсель стал скрести когтями дверь и вдруг неожиданно тонко взвыл: «У-у-юу...» — как от мгновенной внутренней боли. Качанов открыл дверь и выскочил вслед за овчаркой на лестничную площадку, потом раздался его дробный топот по ступенькам.

— Прошу вас, — сделал я широкий жест, приглашая войти в гостиную, и добавил, обращаясь к Халецкому, хотя Лаврова отлично поняла, что говорю я это для нее, и Халецкий это знал: — Весь наш мусор — окурки, бумажки и тэдэ и тэпэ — складывать только на газете в прихожей...

И поскольку мы все трое знали, кому адресовано это указание, осталось оно без ответа, вроде безличного замечания: «Уже совсем рассвело». Я подошел к портрету — почему-то именно портрет больше всего привлекал мое внимание. Это была очень хорошая фотография, застекленная в дорогую строгую рамку. Часть стекла еще держалась, вокруг валялись длин-

ные, кривые, как ятаганы, обломки, рядом на паркете засохли уже побуревшие пятна крови. Там, где капли упали на стекло, они были гораздо светлее. Одна длинная капля попала прямо на фото и вытянулась в конце дарственной надписи, как нелепый, неуместный восклицательный знак.

— Королева Елизавета Бельгийская, — сказал Халецкий, присевший рядом со мной на корточки.

— Это написано или вы так думаете? — спросил я, проверяя себя.

— Знаю, — коротко ответил эксперт. — Жаль, я не понимаю по-французски. Интересно, что здесь начертано?

— Наверное, что-нибудь вроде: «Люби меня, как я тебя», — усмехнулся я.

Лаврова заглянула через мое плечо:

— «Гениям поклоняются дамы и монархи, ибо десница их осенена Господом».

— Вы это всерьез полагаете? — обернулся я к Лавровой.

— Это не я, это бельгийская королева так полагает, — сказала Лаврова.

— Н-да, жаль, что я не гений, — покачал я головой.

— А зачем вам быть гением? — спросила Лаврова. — Расположение монархов вас не интересует, а с поклонницами у вас и так, по-моему, все в порядке.

Я внимательно взглянул на нее, и мне показалось, что в тоне Лавровой досады было чуть больше, чем иронии.

Я снова наклонился над портретом. Королева улыбалась беззаботной улыбкой, и теперь — совсем рядом — эту накопившуюся десятилетиями беззабот-

ность неправящего монарха-дамы не могли изменить даже морщины — трещины расколовшегося стекла.

— И все-таки жаль, что я не гений.

— Слушайте, негений, вы о чем сейчас думаете? — спросил Халецкий.

— Ни о чем. Мне сейчас думать вредно. Я сейчас стараюсь стать запоминающей машиной. Вот когда все зафиксирую в памяти, тогда начну думать.

— Неужели вам никогда не надоедает оригинальничать? — раздраженно спросила Лаврова.

Я удивленно посмотрел на нее, потом засмеялся:

— Леночка, а я ведь не оригинальничаю. И не я это придумал. Еще много лет назад меня учил этому наш славный шеф — подполковник милиции Шарпов.

— Чему? Не думать?

— Нет, в первую очередь запоминать. Я должен сейчас сразу и навсегда запомнить то, что пока есть, но может исчезнуть или измениться...

— Например?

— Так не например, а конкретно: существует несколько неоспоримых, раз и навсегда установленных правил. Запомнить время по часам — своим и на месте преступления, даже если они стоят. Это первое. Затем осмотр дверей: целы ли, заперты, закрыты, есть ли ключи. То же самое с окнами. Установить наличие света. Посмотреть, как обстоит с занавесями. Проверить наличие запахов: курева, газа, пороха, горелого, духов, бензина, чеснока и так далее. Погода — это почти всегда важно. При всем этом ни в коем случае нельзя спешить с выводами — ответ на задачу всегда находится в конце, а не в начале. Ну и конечно, ни

в коем случае нельзя давать вовлечь себя в дискуссию зевакам...

Лаврова долго смотрела мне в глаза, потом негромко спросила:

— Последняя из этих муровских заповедей — для меня?

Я снова перевел взгляд на улыбающуюся королеву, затем поднял голову:

— Перестаньте, Лена. Я вас старше не только по званию. Я вас вообще старше. И гораздо опытнее. И все равно очень многого еще не знаю. И когда меня, как котенка, тычут носом, я не обижаюсь, а учусь. Во всяком случае, стараюсь не обижаться. По-моему, это единственно приемлемая программа для умного человека...

— Поскольку вы не только старше меня вообще, но и по званию, будем считать, что вы меня убедили, — пожалала плечами Лаврова.

— Ага, будем считать так, — сказал я, сдерживая злость. — Я точно знаю, что это самая лучшая позиция убеждения.

— Несомненно, — подтвердила Лаврова. — Правда, с этой позиции убеждение уже иначе называется...

— Вот и прелестно, — согласился я. — Начните выполнение моего приказа с общего осмотра и составления плана места преступления...

Лаврова с ненавистью посмотрела на улыбающуюся королеву и пошла в кабинет. Я сказал ей вслед:

— И про заповеди не забудьте...

Халецкий не спеша проговорил:

— Если мне будет позволено заметить, то обращу ваше внимание, Тихонов, на то, что я, в свою очередь, старше и опытнее вас.

— Будет позволено. И что?

— Что? Что вы не правы.

— Это почему еще?

— В своей молодой, неутоленной жизненной сердитости вы ошибочно полагаете, будто через несколько лет, когда Лена станет опытным, зрелым работником, она будет с душевной теплотой вспоминать о строгом, но справедливом и мудром первом учителе сыска Станиславе Тихонове...

— Не знаю, возможно. Я как-то не думал об этом.

— Так вот — нет. Не будет она с душевной теплотой вспоминать о вас. Она будет вспоминать о вас как о нудном и к тому же жестоком субъекте.

— Ной Маркович, неужели я нудный и жестокий субъект? С вашей точки зрения?

— Вас же не интересует, что я буду думать о вас через несколько лет. А сейчас, будучи гораздо старше и опытнее, как вы говорите, — вообще, я полагаю, что через плотину вашего разума регулярно переливаются волны молодой злости и нетерпимости. Будьте добрее — вам это не повредит.

— Может быть, может быть, — сказал я.

— Так что вы думаете насчет портрета? — спросил Халецкий.

— Я думаю, что где-то здесь поблизости должен валяться гвоздик, на котором он висел.

— Я тоже так думаю, — кивнул Халецкий. — Портрет вор не сбросил: он, видимо, только трогал его, гвоздь выпал, и портрет упал...

Мы давно работали вместе и умели разговаривать кратко. Так люди выпускают в телеграммах предлоги — для экономии места, только мы выпус-

кали целые куски разговора и все равно хорошо понимали друг друга.

— Ной Маркович, а вы сможете собрать осколки? — спросил я.

— Я постараюсь...

Халецкий стал распаковывать свой криминалистический чемодан, который за необъятность инспектора называли «Ноев ковчег». Я напомнил:

— Соскобы крови с пола возьмите в первую очередь.

Халецкий взглянул на меня поверх очков:

— Непременно. Я уже слышал как-то, что это может иметь интерес для следствия...

Я еще раз взглянул на портрет. Холодное солнце поднялось выше, тени стали острее, рельефнее, и трещины были уже не похожи на морщинки. Косыми рубцами пересекали они улыбающееся лицо на фотографии, и от этого лицо будто вмялось, затаилось, замолкло совсем...

— Не стойте, сядьте вот на этот стул, — сказал я соседке Полякова.

Непостижимость случившегося или неправильное представление о моей руководящей роли в московской милиции погрузили ее в какое-то нервное состояние. Она безостановочно проводила дрожащей рукой по волосам — серым, непричесанным, жидким — и все время повторяла:

— Ничего, ничего, мы постоим, труд не велик, чин не большой...

— Это у меня чин не большой, а труд, наоборот, велик, — сказал я ей, — так что вы садитесь, мне с вами капитально поговорить надо.

Она уселась на самый краешек стула, запахнув поглубже застиранный штапельный халатик, и я увидел, что всю ее трясет мелкой дрожью. Она была без чулок, и я против воли смотрел на ее отекавшие голые ноги в тяжелых синих буграх вен.

— У вас ноги больные? — спросил я.

— Нет, нет, ничего, — ответила она испуганно. — То есть да. Тромбофлебит мучит, совсем почти обезножела.

— Вам надо кокарбоксилазу принимать. Это от сердца, и ногам помогает. Лекарство новое, оно и успокаивающее — от нервов.

Она посмотрела на меня водянистыми испуганными глазами и сказала:

— На Головинском кладбище для меня лекарство приготовлено... Успокаивающее...

Я махнул рукой:

— Это успокаивающее от нас от всех не убежит. Да что вы так волнуетесь?

Она смотрела в окно сквозь меня — навывлет, беззвучно шевелила губами, потом еле слышно, на вздохе, сказала:

— А как мне не волноваться — ключи от квартиры только у меня были...

— А почему у вас?

— Надежда Александровна, Льва Осипыча супруга, мне всегда ключи оставляла. Сам-то рассеян очень, забывает их то на даче, то на работе, и стоит тут под дверью, кукует. Потом, помогаю я по хозяйству Надежде Александровне...

— Где ключи сейчас?

Она вынула из карманчика три ключа на кольце с брелоком в виде автомобильного колеса.

— Вы ключи никому не передавали?

Женщина еще сильнее побледнела.

— Я спрашиваю вас: вы ключи никому не давали? Хоть на короткое время?

— Нет, не давала, — сказала она, и тяжелые серые слезы побежали по ее пористому лицу.

С шипением вспыхнул магний — Халецкий с разных точек снимал комнату, — соседка вздрогнула, и слезы потекли сильнее. Из спальни доносился острый звук шагов Лавровой, отчетливо стучали ее каблучки, тяжело сопел под нос Халецкий, беззвучно плакала усталая старая женщина. Я пошел на кухню и налил в никелированную кружку воды из-под крана, вернулся, протянул ей. Она кивнула и стала жадно пить воду, будто то, что она знала, нестерпимо палило ее, и зубы все время стучали о край кружки, и этот звук отдавался у меня в голове, как будто по ней барабанили пальцем.

Я не торопил ее. Не знаю почему, но уже тогда я понял, что спешить в этом деле некуда. Вопреки модной ныне теории, что интуиция, предчувствие, нюх и тому подобные атрибуты нашего ремесла сыщику сегодняшнего дня вредны с точки зрения научной и социальной, я все-таки верю в интуицию сыщика, более того, я просто уверен, что человеку без интуиции в уголовном розыске делать совершенно нечего. А то, что интуиция эта самая нас периодически подводит, — так тут уж ничего не попишешь: издержки производства. Вот и тогда, в самом еще начале, я почувствовал, что повозимся мы с этим делом всерьез...

— Вы не хотите говорить, у кого побывали ключи? — спросил я, а она отрицательно замотала голо-

вой и хрипло сказала, глядя на меня невидящими глазами:

— Я честный человек! Я всю жизнь работаю, я копейки чужой за всю жизнь не взяла... Взгляните на мои руки, на ноги посмотрите — а мне ведь всего сорок семь!

— Мне и в голову не приходило вас подозревать. Но замки целы, квартира открыта ключами. Поэтому я хочу выяснить, у кого в руках могли находиться ключи...

— Ничего я не знаю. Ключи у меня дома были.

— Ну не хотите говорить — не надо. Вы, Евдокия Петровна, живете этажом ниже?

— Да.

— Кто еще с вами там проживает?

— Муж. Сынок два месяца назад в армию ушел, дочка замужем — отдельно живет.

— Как вы обнаружили кражу?

Из спальни вышла Лаврова.

— Леночка, можно вас на минуту?

Я быстро нацарапал на бумажке: «В отд. мил.: Обольников Сергей Семенович — кто такой?» Лаврова кивнула и пошла в кабинет.

— Так что, Евдокия Петровна, как вы узнали?

— Поднялась и увидела, что дверь не заперта.

— Простите, а зачем поднимались?

Женщина судорожно крутила в руках поясok от халата.

— Ну как зачем?... Проверить... все ли здесь в порядке...

— Вас просили об этом хозяева?

— Нет... да, то есть они меня иногда просят об этом. Когда уезжают...

— И сейчас тоже просили?
— Да... не помню, но, по-моему, просили...
— А чем занимается ваш муж — Сергей Семенович?

- Он шофером работает.
- Где он сейчас-то?
- В больнице.
- Ну-у, а что с ним такое?

Кровь бросилась ей в лицо, я увидел, как цементная серость щек стала отступать, сменяясь постепенно багровыми нездоровыми пятнами, будто кто-то зло щипал ее кожу.

— Алкоголик он. В клинику на улице Радио его положили, — медленно сказала она, и каждое слово падало у нее изо рта, как булыжник.

- Когда положили?
- Вчера. Приступ у него начался.

Я положил ручку на стол и постарался поймать ее взгляд, но хоть она и смотрела на меня почти в упор, казалось, меня не замечала — выцветшие серые глаза незряче скользили мимо.

— Приступ? — переспросил я не спеша. — В этой болезни приступ называется запоем. Когда он запил?

— В пятницу, позавчера. — Она больше не плакала, говорила медленно, устало, безразлично.

Вошла Лаврова, положила передо мной листочек. Ее круглым детским почерком было торопливо написано: «Характеризуется крайне отрицательно. Пьяница, бьет жену, а раньше и детей, дважды привлекался за мелкое хулиг., неразборчив в знакомств. Работает шофером в таксомоторном парке, раньше был слесарем-лекальщиком 5-го разряда на заводе „Знамя“».

— Евдокия Петровна, а к мужу вашему, Сергею Семеновичу, ключи в руки не попадали? — спросил я.

Она шарахнулась, как лошадь от удара, и незрячие глаза ожили: задергались веки, мелко затряслись редкие реснички.

— В больнице он, говорю же я, в больнице, — забормотала она быстро и беспомощно, и снова закапали — одна за другой — мутные градины слез.

Да, сомнений быть не могло: Сергей Семенович, муженек запойный, папочка нежный, про ключики знал, держал он их в ручонках своих трясучих, это уж как пить дать...

— Евдокия Петровна, я вам верю, что вы честный человек. Идите к себе домой и подумайте обо всех моих вопросах. И про Сергея Семеновича подумайте. Я понимаю: он вам муж, кровь родная, но все-таки всему предел есть. Вы подумайте: стоит он тех страданий, что вы из-за него принимаете сейчас? А я к вам попозже спущусь. У вас ведь телефона нет?

— Нет, — покачала она равнодушно головой.

— Ну и хорошо, никто звонками вас отвлекать не будет. Часа через два я зайду.

Бессильным лунатическим шагом, медленно переставляя свои отечные, изуродованные венами ноги, пошла она к двери, и я услышал, как, уже выходя из комнаты, она прошептала:

— Господи, позор какой...

...Халецкий снимал на дактопленку отпечатки пальцев со шкафа. Повернулся ко мне:

— Ну что?

— Трудно сказать. Ключи у него, во всяком случае, были. Работал раньше слесарем...

— Думаете, навел?

— Не знаю. Алиби у него при всем том стопроцентное. В этой милой больничке режим — будьте спокойны, отсюда не сбежишь на ночь. Но разрабатывать его придется всерьез. Да и на жену я надеюсь — она мне обязательно сегодня про него что-нибудь поведает.

— Э, не скажите. Такие женщины если замыкаются, то всё, хоть лопни, — рта не раскроют.

— Поживем — увидим, — сказал я и позвал Лаврову.

— Да? — раздался ее голос из кабинета.

— Идите сюда, протокол будем писать здесь.

Я снова уселся за стол, разложив листы протокола осмотра.

— Вы диктуйте, а я буду записывать, — сказал я.

— Пожалуйста, — кивнула она, будто так оно и было правильнее.

Халецкий, натянув тонкие резиновые перчатки, стоя на коленях, очень аккуратно — один к одному — начал подбирать с пола осколки стекла, складывая из них, как из мозаики, единую плоскость. На воощеном паркете, как свежие раны, были видны скобы.

— Исходные данные заполнили? — спросила Лаврова.

— Заполнил.

— Пишите: «Квартира расположена на пятом этаже, других квартир на лестничной клетке нет. Дверь изнутри обита белым листовым железом. Замки повреждений не имеют, ригели и запорные планки в порядке, на обвязке двери против замка видна вмяти-

на. По-видимому, вор проник в квартиру путем подбора ключей...»

— Та-ак, этого писать не будем.

— Почему? — подняла голову Лаврова.

— В протокол надо вносить только факты, — сказал я. — А насчет вора — это пока только мечтания... Ну-с, дальше.

— «...На полу в прихожей три обгоревшие спички... Здесь же лежит проигрыватель, рядом, слева, черные мужские полуботинки новые... на нижней полке горки в беспорядке большие медали с надписями на английском, французском, немецком и японском языках — в количестве одиннадцать штук, все на имя народного артиста СССР Льва Осиповича Полякова, окна в порядке, створки и рамы повреждений не имеют, форточки заперты на шпингалеты, опорные крючки которых повернуты и закреплены в обойме... слева на тумбе — радиоприемник, на котором стоит бюст Полякова... работы скульптора Манизера...»

— Вы забыли про поднос на колесиках, — сказал я, не отрываясь от записей.

— Это называется сервировочный столик.

— Тем более надо указать, — усмехнулся я.

— До него еще не дошла очередь...

— Одну минуту. Ной Маркович, когда у вас дойдет очередь до сервировочного столика, посмотрите внимательно, нет ли на нем следов пальцев.

— «...В спальне гардероб, встроенный в стену, раскрыт, одежда валяется на полу в беспорядке. Здесь же на полу туфли, сумки, чемодан импортный мягкий с разрезанной верхней крышкой... в кресле лежит подсвечник — трехсвечный шандал с обгоревшими

более чем наполовину свечами... На полу восемь листов сгоревшей бумаги, пепел значительно поврежден. Здесь же валяются принадлежности скрипичных инструментов... В спальне разбросаны вещи, белье, на полу — двенадцать коробочек от ювелирных изделий...»

Лаврова положила на стол желтый металлический диск:

— Это «Диск д'Ор» — золотая пластинка, которая была записана в честь Полякова в Париже. Здесь собрана его лучшая программа...

— Прекрасно, — сказал я. — Что, перекур? Давайте передохнем, закончим общее описание и тогда составим протокол на каждую комнату в отдельности.

— А зачем отдельные протоколы?

— Перестраховка. Если мы с вами, Леночка, не справимся с этим делом, то хоть протокол надо составить так, чтобы и через десять лет следователь, взяв его в руки, представил обстановку так же ясно, как мы видим ее сейчас.

— Откуда такой пессимизм, Станислав Павлович?

— Это не пессимизм, Леночка. Это разумная предосторожность. В нашем деле всякое случается.

— Но ваша любимая сентенция — «нераскрываемых преступлений не бывает»?

— Полностью остается в силе. Если мы с вами не раскроем, придет другой человек на наше место: более талантливый, или более трудолюбивый, или, наконец, более удачливый — тоже не последнее дело.

— А если и тому не удастся?

— Тогда, наверное, нам отвинтят головы.

— Ой-ой, это почему? Перед законом все потерпевшие равны — независимо от их должностного или

общественного положения. По-моему, я это от вас и слышала.

Я засмеялся:

— Я и не отказываюсь от своих слов. Но было бы неправильно, если бы мы позволили ворюгам безнаказанно шарить в квартирах наших музыкальных гениев.

— Понятно. А в квартире обыкновенного инженера можно?

Я с интересом взглянул на нее, потом сказал:

— Эх, Леночка, мне бы вашу беспечность! От нее независимая смелость ваших суждений.

— Подобный выпад нельзя рассматривать как серьезный аргумент в споре, — спокойно сказала Лаврова.

— Это верно, нельзя. Скажите, вам никогда не приходило в голову, что наша работа в чем-то похожа на шахматную игру?

— А что?

— А то, что нельзя играть в шахматы, видя перед собой только следующий ход. В шахматах побеждает тот, кто может намного вперед продумать свои ходы и их железной логикой навязать противнику удобную для себя контригру — чтобы она ложилась в рамки продуманной тобой комбинации...

— Какой же вы продумали ход?

— К сожалению, в наших партиях противник всегда играет белыми — первый ход за ним. Причем, вопреки правилам, ему удается сделать сразу несколько.

— Ну, e2 — e4 он сделал. Какова связь с нашим спором?

Я задумался, будто забыл о ней, потом спросил:

— Не понимаете? Сейчас приедет хозяин квартиры — народный артист СССР, лауреат всех существующих премий, профессор Консерватории Лев Осипович Поляков. Он, как вам это известно, гениальный скрипач. Теперь он еще называется «потерпевший». И подаст нам заявление, которое станет документом под названием лист дела номер два. Вот тут мы с вами можем узнать, что есть еще один потерпевший... Этого я боюсь больше всего...

— Кто же этот потерпевший?

В прихожей хлопнула дверь. Я обернулся. В комнате стоял Поляков.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга первая ВХОД В ЛАБИРИНТ

Глава 1. Улыбка королевы	7
Глава 2. Гений	28
Глава 3. Кислая вода лжи	50
Глава 4. Свои минотавры	75
Глава 5. Каин для кнутабоища	99
Глава 6. Фаза испепеления	126
Глава 7. Гениален, как Роде, и так же несчастен	150
Глава 8. Человека к благу можно привести и силой	168
Глава 9. Горький дым страха	194
Глава 10. Сыщик, ищи вора!..	220
Глава 11. Вход в лабиринт	243

Книга вторая ПРАВДУ УМОМ ИЩУТ...

Глава 1. Чучело Минотавра	277
Глава 2. Нельзя злодейство усугублять глупостью	314
Глава 3. «...Плотью живой он в могилу живую уходит...»	343
Глава 4. У людей долгая память	382
Глава 5. Бабка Трумэна	411
Глава 6. Сто процентов алиби	460
Глава 7. Характер человека — его судьба	475